

А. Ф. РУКЕВИЧ



ИЗ
ВОСПОМИНАНИЙ
СТАРОГО
ЭРИВАНЦА
1832–1839 гг

САГИСЪ

Аполлинарий Рукевич
**Из воспоминаний старого
эриванца. 1832-1839 гг.**

Православное издательство "Сатись"

1914

Рукевич А. Ф.

Из воспоминаний старого эриванца. 1832-1839 гг. /

А. Ф. Рукевич — Православное издательство "Сатись", 1914

ISBN 978-5-7868-0001-3

В воспоминаниях генерал-лейтенанта Русской Императорской армии рассказывается о его жизненном пути, приведшим юнца – участника польского восстания 1830–1831 годов на Кавказ в ряды славного Эриванского полка... Многие на Кавказе до сих пор еще помнят Аполлинария Фомича Рукевича, служившего здесь в войсках непрерывно от начала тридцатых до конца восьмидесятых годов прошлого столетия и умершего в чине генерал-лейтенанта более двадцати лет тому назад.

ISBN 978-5-7868-0001-3

© Рукевич А. Ф., 1914

© Православное издательство
"Сатись", 1914

Содержание

Предисловие	6
I	7
II	21
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Аполлинарий Рукевич
Из воспоминаний старого
эриванца. 1832–1839 гг

© Составление А.В. Елинский, 2009

© Издательство «Сатись», составление оригинал-макет, 2009

Предисловие

В воспоминаниях Генерал-лейтенанта Русской Императорской армии рассказывается о его жизненном пути, приведшим юнца— участника польского восстания 1830–1831 годов на Кавказ в ряды славного Эриванского полка...

Многие на Кавказе до сих пор еще помнят моего отца, Аполлинария Фомича Рукевича, служившего здесь в войсках беспрерывно от начала тридцатых до конца восьмидесятых годов прошлого столетия и умершего в чине генерал-лейтенанта более двадцати лет тому назад.

В оформлении обложки использован фрагмент картины И. К. Айвазовского «Десант в долине Субаши»

По настоянию близких лиц, он начал писать свои воспоминания об этой героической эпохе, но, к сожалению, не закончил их. Однако почти законченный период пребывания солдатом представляет некоторый исторический интерес, главным образом с бытовой стороны. Мне он завещал редактировать и издать их, «если кто поинтересуется давним прошлым старого инвалида».

Редакционная моя работа заключалась лишь в сглаживании шероховатостей, неизбежных при черновых набросках, и в очень немногих добавлениях, почерпнутых из дальнейших отрывочных заметок отца или известных в нашей семье по его рассказам. Впрочем, эти добавления не касаются сущности описываемых событий, а лишь дополняют их.

Михаил Рукевич.

I

Наш род. – Переезд семьи на Волынь. – Мое участие в польском восстании. – 1831 год. – Пан пробощ. – 13-е июня. – Критический момент. – Плен. – Полевой суд. – Помилование. – Ссылка на Кавказ. – Поход через Россию. – На Дону. – Дарьяльское ущелье. – Грандиозный обвал. – Приход в Тифлис. – Мое назначение в Эриванский карабинерный полк.

Род наш принадлежал к литовскому дворянству Гродненской губернии, где некогда мой прадед был «кастеляном», т. е. губернатором. Один из моих дядей, Михаил Рукевич, был по политическим делам сослан в Сибирь и сидел в том же каземате, в котором был потом заключен декабрист барон Розен (см. его записки). Впрочем, нужно сознаться, что я никогда не интересовался своей генеалогией.

Матушка моя, необычайно кроткая женщина, из литовского рода Адамовичей (Лидского уезда), была очень хорошо образована и даже знала медицину. У одного из моих старших братьев должны храниться латинские медицинские книги с собственноручными пометками нашей матушки. Кроме того, она хорошо знала новые языки и свои знания передала нам, сыновьям. Я пятнадцати лет уже свободно говорил по-французски, по-немецки и, что считалось редкостью в то время, по-русски. Знание русского мне впоследствии очень пригодилось, но два первых языка при отсутствии практики я забыл довольно скоро.



Польское восстание 1830–1831 г. г

Семья наша, когда-то довольно богатая, в период наполеоновских войн разорилась, и отцу моему, майору польских войск, пришлось бросить службу и перекочевать на Волынь, где на приданое жены он предпринял разного рода операции с конскими заводами. Окончательный крах довершился после одного пожара, уничтожившего все конюшни и лучших маток. Матушка безропотно перенесла удар, но он же ее и подкосил: скоро она скончалась на моих руках. Отец, определив двух старших сыновей на русскую государственную службу (старший

брат, Эмилиан, служил где-то в Житомире, а средний, Эдмунд, был офицером в 51-м егерском пехотном полку; впоследствии он перевелся в лесное ведомство и служил в Воронеже, где и умер недавно), поселился со мной, младшим сыном, в с. Сельце Ковельского повета, заведывая имением дальнего своего родственника помещика Закашевского.

В то время на политическом горизонте начали скопляться грозные тучи. Готовясь к университетскому экзамену, я невольно прислушивался к тому, что делалось вокруг, а там шло брожение, глухое, скрытое; готовилось восстание, которому отец совершенно не сочувствовал и, чтобы не вовлекать меня во грех, отправил меня в конце 1830 года в Краков, где я и поступил сначала в частный пансион, а затем и в университет.

Но, по-видимому, нельзя было уйти от своей судьбы. На лето 1831 года я приехал на каникулы домой и отдал дань общему увлечению. В то время главные силы Дверницкого, уже разбитые, перебрались в Австрию, но на Волыни брожение продолжалось и в разных местах формировались банды. Тайно от отца я примкнул к одной из них, принял торжественную клятву на верность польскому делу и записался в летучий партизанский отряд, который собирался по известным сигналам и после набега распускался по домам.

Главным нашим вдохновителем был пан пробощ Иероним, настоятель иезуитского костела, кажется, в самом Ковеле. Это был типичнейший представитель иезуитов, умевший ладить с русскими властями, у которых даже считался образцом благонамеренности, и в то же время формировавший революционные банды. Вкрадчивый, наружно ласковый, обходительный, особенно с женщинами, он обладал железною волею и неотразимо влиял на толпу. Его проповеди, которые он говорил только тогда, когда был уверен в отсутствии соглядатаев, воспламеняли слушателей до экстаза, до истерик... Я сам плакал не раз и в такие минуты почитал бы за счастье пожертвовать жизнью за родину, которую искренно считал угнетенной ненавистными москалями. Я совершенно забывал, что мне много раз говорил отец и с чем я всегда совершенно соглашался. А он мне высказывал свой взгляд, что готовящееся восстание не есть народное, а чисто магнатское и больше всего ксендзовское, что в историях Польши и Литвы простому народу и шляхте всегда приходилось играть роль «быдла» и что во всем прошлом, о котором так увлекательно пишут историки и которое воспевают поэты, собственно простому народу и недалеко от него ушедшей шляхте положительно ничем хорошим нельзя помянуть своих панов и магнатов... Собственно только с водворением в крае русской власти простой народ начинает чувствовать свои человеческие права. А ведь это быдло убеждали бороться за «очаги», которых у него не было, за «вольность», которая была только у панов, за веру, на которую никто не покушался... Наконец, это было «польское» восстание, а не «литовское». Отец всегда считал себя кровным литвином, а Литва, как он говорил, если начать разбираться в истории, гораздо ближе по происхождению, по языку, да и по прошлой религии к России, чем к Польше...



Польские повстанцы 1830–1831 г.г.

Все это я и тогда сознавал и все-таки не мог противостоять общему увлечению, когда новая революционная волна докатилась до Волыни. Но разве послушание голосу благоразумия свойственно молодости?.. Возможно ли пятнадцатилетнему юноше устоять против искушения участвовать в героическом бою слабых против сильного?.. Если бы я удержался от участия, какими бы глазами я потом смотрел на моих сверстников, уходящих в бой, и особенно на «паненек», фанатизированных ксендзами гораздо более мужчин? О, в этом случае ксендзы знали, как следовало взяться за дело... Для достижения своих целей они всегда влияют сначала на женщин, зная, что мы, мужчины, всегда были и всегда будем послушными рабами прекрасной половины рода человеческого...

В конце мая 1831 года отец, вполне спокойный за меня, уехал по делам в Киев, а я отдался весь новому течению и поступил как сказал выше, в одну из партизанских партий.

Помню хорошо мой первый выезд. Однажды я проснулся от конского топота. Выглянув в окно, я увидел нескольких скачущих всадников, а на колокольне костела развевающийся бело-желтый флаг. Это был наш условный сигнал, по которому мы собирались к определенному пункту возле часовни, у перекрестка двух лесных дорог. С бьющимся сердцем я начал спешно облачаться в «повстанскую униформу», которую создала наша фантазия и которая отнюдь не была обязательна. Она состояла из голубого сукна рейтузов, куртки, расшитой по-гусарски шнурами, доломана, опушенного мехом, с откидными рукавами, а затем, конечно, шпор на ботфортах и сабли; голову прикрывала конфедатка, надевавшаяся набекрень. Вооружение, кроме

обязательной сабли, могло состоять из чего угодно – пистолетов, ружей охотничьих, бельгийских штуцеров и даже, в крайности, из пик... Ружье отца было попорчено и чинилось в кузнице, так что я выехал на первый раз только с турецкой кривой саблей. Лошадь была почти обязательна, ибо скорость передвижений составляла одно из главных свойств нашего партизанского отряда. Пока я одевался, Станислав, наш единственный слуга, наш повар, камердинер и конюх одновременно, оседлал мне Маю, серую кобылицу кровей завода Сангушки, уцелевшую от прежней отцовской конюшни. Через несколько минут я скакал на сборный пункт и мне казалось, что все на меня смотрят с восхищением, как на героя...

Почти все уже находились в сборе. Многих я знал, но были и новые для меня, приезжие из дальних окрестностей; были тут и юнцы, подобные мне, были и седовласые старцы, но всех нас уравнивала общая идея. Многие не могли устоять от искушения шикнуть костюмами, у иных расшитыми золотом еще более театрально, чем у меня.

В стороне держалась одна группа, громко о чем-то спорившая: это претенденты на начальников предлагали свои планы боевых действий. Но вот из лесу показалась каруца, которой правил сам пан пробощ. Его встретили радостным гулом приветствий и тотчас же окружили. Я не мог пробраться в середину и только слышал отдельно долетавшие слова. Несколько раз его прерывали криками «виват!.. Да здравствует Польша!» Отец Иероним сообщал слухи об успехах польского оружия, о победах над москалями и о необходимости и с нашей стороны поддержать общее дело... Затем он отдал несколько приказаний, принятых беспрекословно, роздал ближайшим благословения и уехал так же тихо, как и приехал.

После этого вперед выехал молодецватый на вид бывший кавалерист, один из родственников пана Закашевского (фамилии его я не помню). Приосанившись, он расправил длинные свои усы с подусниками, привстал на стременах и густым басом сказал: «Ясновельможные паны!.. С нами Бог! За дорогую отчизну... за веру нашу... за попорченную вольность нашу положим жизнь и достояние наше... Да благословит нас Пресвятая Матерь Божья!.. С нами Бог!..»

Единодушный крик сочувствия покрыл эти слова, и мы в восторженном экстазе потрясали саблями... Не только мы, юнцы, но все до последнего были объаты в этот момент лучшими героическими чувствами и горячим желанием принести себя всего в жертву отечеству... Я не думаю, чтобы в жизни часто повторялись подобные душевные настроения.



Атака литовских повстанцев. Худ. Михал Андриолли.

На первый раз нам, большей частью, не знавшим совершенно строя, показали некоторые кавалерийские перестроения, примерные атаки и, наконец, сабельную рубку, но как я ни был героически настроен, помню отлично, что, несясь на коне к дереву рубить для упражнения ветку, я мысленно молил, чтобы мне не пришлось ничего другого сносить саблей, кроме этой ветки...

Завершили мы наш первый сбор веселым походом к недалекому, верстах в пяти, фольварку, дабы истребить там склад русского сена, заготовленного комиссариатскими чиновниками. Но, подойдя к месту, мы издали заметили несколько эскадронов улан, разбиравших на выюки сено. Прикрытые лесной опушкой, мы остановились и выжидали, когда фуражиры уйдут, но одни части сменялись свежими и, казалось, им не будет конца. Наш командир тогда решил благоразумно отойти незаметно назад и распустить нас по домам.

Собирались мы еще несколько раз для упражнений и рекогносцировок, причем остатки сена мы таки сожгли, затем совершили набег на какую-то почтовую станцию, где забрали всех лошадей. Собственно же военных действий пока еще не было.

В первых числах июня я получил от отца письмо, в котором он извещал меня о своем приезде числа пятнадцатого.

Вместе с этим он в сильных красках описывал неудачи польских войск и предсказывал полное крушение революции. Письмо заканчивалось мольбой не увлекаться проповедями фанатиков и помнить наши прежние беседы. Но советы эти запоздали. Со всем пылом увлекающегося юноши я отдался революции и в случае приезда отца решил уйти из дому и поселиться у кого-нибудь из товарищей.

Но вот наступило роковое для меня 13-е июня. Уведомленный еще накануне о сборе, я встал чуть свет, по у меня все что-то не клеилось: то в темноте не мог высечь огня (тогда еще спичек не было), то путал части костюма, кое-что надел наизнанку, а это, по нашим домашним приметам, служило признаком несомненной неудачи; наконец, в довершение бед, Мая раскобалась. Стась начал меня уговаривать не ездить сегодня, но как я мог отказаться от участия, когда меня предупредили, что на этот раз будет действительная «баталия!» Отказаться от нее значило в моих глазах изменить самому делу... Я строго приказал Стаею отыскать жида-коваля и притащить его живым или мертвым. Жид был отыскан, но он не хотел так рано вставать или, кажется, день был субботний. Пришлось идти мне самому и не совсем вежливо принудить жида подковать Мая.

Солнце уж взошло, когда я прискакал на сборный пункт, но там никого не было. Руководясь где следами по мокрой росистой траве, где расспросами, я проскакал верст пятнадцать и уж начал терять всякую надежду найти своих, как вдруг до меня донеслись боевые крики, затем выстрелы... С сильно бьющимся сердцем я помчался на звуки боя и наконец, увидел картину, повергшую меня в отчаяние, – все было кончено без моего участия!.. Отряд наш атаковал транспорт оружия, боевых припасов и обмундирования. Прикрытие состояло всего лишь из нескольких старых инвалидов, числом не более пяти-шести человек, которые даже не сопротивлялись и сейчас стояли себе мирно в стороне и покуривали трубочки... Потом я узнал, что пылкая молодежь хотела было расправиться с этими инвалидами, но, по счастью, нашлись более благоразумные, которые удержали юнцов от бесцельного зверства и даже не позволили вязать «пленных». Слышанные мною выстрелы были направлены в единственного верхового казака, который, однако, успел безвредно ускакать.

Медлить было нельзя, возы завернули, и мы тронулись в путь. Инвалидов же отпустили на все четыре стороны. Дальше произошло что-то непонятное... Мы двигались беспорядочной гурьбой, без соблюдения каких-либо мер военных предосторожностей, так как ниоткуда не ждали нападения, как вдруг, словно из-под земли, появились донские казаки, мигом нас

окружившие со всех сторон... С пиками наперевес, с диким гиканьем понеслись они на нас... Передо мной кто-то со стоном упал, сзади меня тоже раздался крик... Чувство самообороны заставило меня выхватить саблю, но в ту же минуту она у меня вылетела из рук, вышибленная пикой, а сам я получил сильный удар в бок и упал с лошади... Еще момент, и я был бы пронзен насквозь... Уже я видел конец направленной на меня пики и стал мысленно прощаться с отцом, с братьями... но вдруг услышал: «Не замай ее, Гаврилыч! Это девка, живьем возьмем...»

И я спасся, благодаря ходившей тогда легенде об амазонках среди повстанцев, моему крайне моложавому виду и длинным, по краковской студенческой тогдашней моде, волосам, выбивавшимся из-под конфедератки. Но в то же время у меня мелькнуло, что как только казаки убедятся в своей ошибке, они расправятся со мной. И мною овладело такое чувство безразличия к жизни, что мне захотелось скорейшего конца. Я вскочил на ноги и по-русски крикнул казакам: «Я такой же мужчина, как и вы!.. Колите же меня!..»



Подавление восстания. Казаки.

Казаки на минуту оторопели, но тут один урядник сказал: – Ишь ты, прыткий какой!.. Приколоть-то мы тебя всегда успеем, а теперь мы тебя к есаулу сведем. Может, ты перебежчик какой?.. Вяжи его, братцы!..

Мне скрутили ремнями руки у локтей и повели... Уходя, я оглянулся и увидел несколько трупов, над которыми возились другие казаки, снимая с них доспехи... Это были мои последние более или менее связные воспоминания, ибо после этого я впал в какое-то странное состояние апатии, и все дальнейшее мелькает у меня смутными, неясными образами, как давний, почти забытый сон... Вероятно, я перенес нервную горячку, как результат испытанных потрясений, потому что совершенно не помню первого времени заключения, первых допросов и даже полевого суда надо мной. Но, сознаюсь, если бы я и помнил, то миновал бы эти воспоминания, вероятно, очень тягостные.

Однако не могу не остановиться на одном обстоятельстве, имевшем для меня большое воспитательное значение. Как в дымке, мне грезится сарай, я лежу на соломе, и чье-то лицо склонилось надо мной, кто-то мочит мою горячую голову холодной водой... Видится мне ермолка, пейсы, веснушчатое лицо... Потом мне отец сказал, что то был еврей, приговоренный за доставку оружия повстанцам к повешению. Он ухаживал за мной во все время нашего совместного заключения, сберег и передал отцу моему нательный образок, благословение матери, и ее же обручальное кольцо.

Из захваченных моих товарищей никто не обратил на меня внимания, этот же еврей, сам стоявший перед лицом смерти, принял во мне братское участие, а ведь его во всякое другое время я назвал бы не иначе, как «пархатый». Эта незлобивость покорила меня. Я тогда же дал обет никогда не относиться с предубеждением к евреям и вообще к какой бы то ни было национальности... Мне кажется, я сдержал свое слово...

Нас «погнали» в Брест-Литовск, и здесь меня судила военно-полевая комиссия при 24-й пехотной дивизии и приговорила к смертной казни через расстреляние... Приговор этот, представленный на конфирмацию командующего войсками округа, командира 6-го армейского корпуса барона Розена, был отменен, и я присужден лишь к ссылке без лишения дворянства на Кавказ рядовым в один из полков, «впредь до отличной выслуги, но не иначе, как за военные отличия противу неприятеля» (Архив кавк. военного округа. Дело штаба кавказского отдельного корпуса № 107.471 за 1836 год, по части польской: «О производстве рядового из дворян Аполлинария Рукевича по высочайшему соизволению в унтер-офицеры». В этом деле есть копия конфирмации о помиловании отца, подписанная бароном Розеном 23-го июня 1831 года в Брест-Литовске. Все свои довольно многочисленные награды отец получил только за военные отличия, за исключением унтер-офицерского звания, о чем будет сказано дальше. Штраф этот очень долго тяготел над отцом. После Кюрюк-Даринского сражения он был снят, но все же и в 1871 году, когда отец, бывший в то время уже полковым командиром, хотел отвезти меня в московскую гимназию, ему пришлось просить разрешение на въезд в столицу. – прим. М. Р.).

Отец, возвратившийся домой в день моего пленения, поднял на ноги все, что могло содействовать облегчению моей участи. Смягчить, однако, судей он не мог, но зато вызвал участие барона Розена, который отнесся снисходительно к поступку юноши. Не даром это далось отцу. Он заболел и стал с этого дня хиреть.

Прежде, чем выступить на Кавказ, мне пришлось протомиться в Брест-Литовске около года, – самое ужасное время в моей жизни, о котором не хочется и вспоминать...

Ко мне несколько раз приезжали братья, насколько могли, облегчили мое положение, выхлопотав мне некоторую свободу, благодаря которой я мог кое-чем заняться – давать уроки, переписывать бумаги, но все же было очень тяжело, главным образом вследствие произвола разных лиц, которые ведали нами. Так, например, один из пленных просил, молил, подавал прошения, но так и не мог добиться разрешения съездить куда-то дня на два; тогда он бежал и нас всех тотчас же заперли в казематы, а осужденным в солдаты обрили полголовы от лба до затылка, как брили их тогда рекрутам. Немногих одели в короткие шинели с брюками серого сукна, напоминавшие арестантскую одежду, только без бубнового туза на спине. В довершение позора, за несколько дней до выхода партии нас заковали в кандалы, и когда, даже теперь, спустя много десятков лет, я слышу бряцание железных цепей, меня охватывает жуткая дрожь, больно и обидно становится за пережитое... Кому это было нужно?.. Для назидания другим?.. Но ведь и так нашу кару (заключение и ссылку) можно было считать достаточно суровой... Я уверен, что если бы оставался в крае гуманный барон Розен, над нами бы не издевались так, но его к этому времени перевели на Кавказ командующим войсками.

5-го июля отец кое-как приплелся на этап проститься со мной. Сдерживая рыдания, он благословил меня, сунул в руку кисет с пятью полуимпериялами, но, когда услышал лязг моих кандалов, не выдержал и упал на руки сопровождавшего его Стася...

Это было наше последнее свидание. Отец разошелся с Закашевским, которого считал главным виновником моего совращения, ликвидировал затем все свои дела, поселился где-то в глуши и года через два умер... Бедный отец!.. Тяжка была его жизнь, полная разных мытарств, грустна его одинокая кончина!

Мы выступили под усиленным конвоем. Кандалы, стража, – все это, конечно, на нас действовало очень удручающе, но, когда мы вышли из «Царства», цепи с нас неожиданно сняли. Даже самый конвой постепенно сокращался и дошел до одного унтер-офицера с несколькими рядовыми, которые даже ружья свои складывали на повозки. Мы же не разбегались, сознавая, что если кто-нибудь из нас бежит или вообще чем-нибудь нарушит установленный порядок, то это очень тяжело отзовется на всех остальных. Этим мы завоевали себе большую дозу свободы. Полагавшийся при нас офицер сопровождал этап лишь несколько переходов, но когда увидел, что дело наладилось, уехал куда-то и нагнал нашу партию за два перехода до Ростова.

Выступая с места нашего отправления, мы все полагали, что пройдем по России словно сквозь строй общего недоброжелательства и даже ненависти. Так по крайней мере нам о России внушали наши главные наставники, ксендзы. Каково же было наше удивление, когда мы повсюду, где бы мы ни проходили, видели самое сердечное участие и желание оказать посильную помощь. В то же время мы ясно видели, что это не было тупым непониманием произошедших событий или протестом против правительственных мер, потому что все русские отлично сознавали что мы «бунтовщики», справедливо наказанные за неповиновение, но вследствие нескончаемой доброты русской натуры нас жалели, как всегда жалеют «несчастненьких».

Но больше всего нас поразила Донская область. Вот, думали мы, вступая в нее, родина тех, которых мы считали исчадиями ада. И мы замкнулись, шли суровыми, смотрели неприветливо исподлобья. Подошли мы как-то часов около двенадцати к небольшому выселку и остановились возле крайней хаты. Некоторые из нас, не желая даже пользоваться тенью, расположились на самом солнцепеке. Я не был так щепетилен и с конвоирами уселся на заваulinке. Через некоторое время из хаты вышла опрятно одетая старушка; разузнав от конвойных, кто мы такие, она тотчас пошла обратно и через некоторое время вынесла с молодухой пирогов, караваев хлеба, творогу, арбузов и всякой другой деревенской снеди... Конвойные очень охотно принялись за еду, а мы, хотя и голодные, хотели выдержать характер и на радужное приглашение сумрачно смотрели в сторону. Старушка была, видимо, сконфужена.

– Али вы брезгаете, миленькие мои? – сказала она. – Уж не наши ли головорезы досадили вам?.. Да вы уж простите им, потому их такое казацкое дело... Поди, и вы их не миловали?.. Дело, значит, обоюдное, военное... Теперь же скоро на мир пойдет. Зачем же Бога гневить и зло помнить?..



Донские казачки. Фото конец XIX века.

Большая часть наших поняла мысль благоразумной дончихи. Один из товарищей тогда сказал по-польски:

– А ведь она, чёрт возьми, права... Чем она виновата и зачем ее обижать?

При этом я невольно подумал, что у нас на Висле, наверное, никто из русских не получил бы добровольно данного кусочка...

И лед растаял. Ночлег предполагался несколько далее, но старшой наш нашел возможным немного нарушить маршрут, и мы кончили день в большой дружбе не только с этой милой старушкой, но и со всем выселком, сбежавшимся смотреть, как «гонят полячков»... Никакой платы никто от нас не пожелал брать, и на другой день мы выступили, снабженные курами, утками, караваем хлеба, фруктами и необыкновенно вкусными коржиками на меду.



Эльбрус

Почему-то старушка особенно жалела меня, говоря:

– Ишь-ты!.. Такой молодой и попался. Некому было тебя отстегать хорошенько... Туда же воин!.. Ну, на, ешь вареники, а это возьми завтра с собою на дорогу... Да ты бы старшего попросил подневать тут. Я бы тебя подкормила л едящего...

И это говорилось на родине тех, одно имя которых считалось у нас, да и на всем Западе, пугалом. В конце концов, если у нас и было в душе враждебное чувство, оно значительно улеглось за эти два-три месяца похода по России, а у некоторых, более отзывчивых на ласку, каким был, например, я, сердце совсем отошло. Я далее под конец стал мириться со своей участью. А когда впервые, вероятно, за Невинномысской станицей, далеко вправо в розовой дымке восхода показался величавый двуглавый Эльборус, а затем постепенно начали развешиваться невиданные дотол великолепные панорамы горных пейзажей, я даже был рад тому, что случай меня бросил на этот путь приключений... На будущее я стал взирать с тем интересом, с каким иногда готовишься читать заведомо любопытную книгу... А раньше как все было бесприсветно, мрачно...



Дарьяльское ущелье

Этот душевный переворот особенно усилился во мне, когда мы вступили в сказочное Дарьяльское ущелье за Владикавказом. В то время поэтические легенды, которые повелили миру наши поэты, не были еще нам известны, но и мы, простые смертные, чувствовали все величие дивных картин... Сердце сжималось, глядя на громады, грозно висевшие над головами и готовые, казалось, ежеминутно свалиться и раздавить нас, мурашек, копошившихся где-то там внизу... И как перед этим могучим величием были ничтожны все мы со всеми нашими

волнениями, страстями, ненавистью... А тут, как будто нарочно, сама природа захотела показать нам всю свою мощь... Это случилось в начале августа, приблизительно числа десятого, когда наша оказия подошла к Ларсу, станции Военно-Грузинской дороги.

Перегона за три до Владикавказа мы вступили в сферу действий горцев и вошли в состав колонны под прикрытием отряда из трех родов оружия. С нами двигалась почта, военные обозы, проезжающие... это-то и называлось «оказией», – французское слово, принявшее на Кавказе полные права гражданства. Теперь, конечно, трудно себе представить подобного рода путешествие, но в то время это был обычный способ передвижения по опасным от неприятеля местам. Кругом отряда высылались разъезды от кавалерии или дозоры от пехоты, иногда даже арьергарды, двигались с привалами, дневками, ночевками, словом, – как обычно совершаются передвижения в условиях военного времени. Во Владикавказе к нам еще подбавились проезжающие, с которыми многие из нас свели знакомства. Мне повезло. Проходя как-то на привале вдоль колонны, я вдруг услышал неистовую ругань по-французски. Кричал какой-то господин с бритым, как у актера, лицом.

– Негодяи!.. Разбойники!.. Ведь это же грабеж!.. Я буду жаловаться консулу, посланнику... Будь проклята эта дикая страна, где никто не понимает человеческого языка...

Его спутница, дама в фургонообразной шляпе, закутанная от пыли в густую вуаль, тщетно старалась успокоить взволнованного господина, а возчики, местные осетины, и солдаты обступили кругом и, не понимая, в чем дело, весело пересмеивались между собой...

Присутствие дамы, в которой я по неуловимым признакам угадал и молоденькую, и хорошенькую, заставило меня принять участие в деле, оказавшемся в конце концов сущими пустяками, способными взволновать только мелочного француза, полагающего, что, раз он принадлежит к «великой нации», все должно преклоняться перед его требованиями... Француз ехал в Тифлис открывать большую гостиницу и, кажется, потом состоял метрдотелем у князя Барятинского; а спутница его ехала на место гувернантки к какому-то грузинскому князю. Узнав, что я пострадал за участие в польском восстании, она наивно воскликнула: «Ведь Франция и Польша соседки, – мы компатриоты!..» И это послужило достаточным предлогом для нашего знакомства.

Тихая, однообразная езда шагом скоро надоела француженке. Она вышла из экипажа, и мы пошли вперед, тем более, что колонна вся растянулась по ущелью: некоторые повозки задержались вследствие поломки колес по трудной, очень неровной дороге, а другие ушли вперед. Прикрытие тоже разделилось.

Разговорчивая француженка сначала все ахала при виде грозных красот Дарьяла, но потом вспомнила свои Альпы и стала уверять, что их Монблан значительно выше и вообще первая гора в мире.

За одним поворотом дороги ущелье как-то сразу расширилось, и вдали на сером фоне скал уже забелели станционные постройки. Мы уселись на придорожные камни и любовались развернувшейся перед нами картиной, которая и сейчас рисуется передо мной, словно недавно виденная...

Воздух был чист, как он может быть только в горах, и светло-голубое небо ярко сияло на потолке в промежутке между горными стенами, словно своды гигантского храма... Слева в теневой еще стороне подымались вертикально вверх темные скалы, а справа, будто для контраста, на невысоких террасах мягко переливались зеленые, красные, лиловые тона лесов и где-то вверху ярко белел не то участок снежного хребта, не то облако, прилепившееся к скале... Все это представляло такую гармонию красок, что у нас затаилось дыхание, и мы молча сидели, не шевелясь...

В этот момент произошло что-то страшное... Откуда-то издали слышались раскаты отдаленного грома, но небо было ясно, безоблачно. Гул усиливался, земля начала дрожать, и

мною, не говоря уж о моей спутнице, овладел тот панический ужас, который всегда чувствуют люди при грозных явлениях природы. Спутница моя вскочила...

– Что это?.. Извержение?.. Землетрясение?..

Но я сам не мог объяснить, в чем дело. Бежать?.. Но куда?.. Везде стояли эти ужасные грозные скалы, готовые опрокинуться... А гул все рос, дрожание почвы увеличивалось, что-то роковое приближалось...

– Это светопреставление!.. – в безумии твердила моя спутница и жалась ко мне.

И, действительно, там впереди творился ад... В узкой щели между горами подымался клубами не то дым, не то пыль коричневатого или желтого цвета, и оттуда-то неслись эти угрожающие звуки, словно начинающееся извержение вулкана... Но наконец, я догадался, в чем дело. Очевидно, где-то впереди происходил земляной обвал, так часто случающийся в этих горных местностях. Понемногу громовые раскаты начали смолкать и наконец, совсем стихли. Я объяснил, в чем дело, и моя легкомысленная спутница быстро перешла от полного отчаяния к безмерной радости, особенно когда к нам подошли спутники, рассказавшие, что в узкой части ущелья от сотрясения с обеих сторон сыпались крупные камни. Следует отнести к величайшему счастью нашему, что никто при этом не пострадал.

Направляясь далее к станции, мы заметили какую-то необычайную тишину и уж потом разглядели, что Терек, наполнявший все Дарьяльское ущелье своим шумом, теперь стих и начал на наших глазах мелеть, а затем обнажилось дно, показались камни, и вода осталась только в лужицах. Очень было любопытно бегать по руслу, где только что кипел с сокрушительной силой поток, но было трудно удержаться на камнях, покрытых еще влажным зеленоватым налетом ила. Подвигаясь далее, мы увидели нескольких осетин, бегавших босиком с засученными выше колен штанами вдоль русла и ловивших что-то. Оказалось туземцы, ловили форель и усачей, забившихся под камень. Какова же была плавательная сила этой рыбы, если она могла удержаться в стремительном потоке Терека?..

На станции мы узнали подробности. Это был не земляной, а ледяной обвал. Выпадающий на склонах Казбека снег образует ледники, которые текут по определенным направлениям, но таяние льда и снега меньше, чем их прирост, и годами, десятками лет там накапливаются такие массы, что их не могут вместить ледники; они срываются со склонов, перелетают с разбега через кряж, отделяющий ледники от Дарьяльского ущелья, и обрушиваются вниз. Такие обвалы, по словам жителей, повторяются через промежутки в тридцать-сорок лет, но вот уже прошло после этого более пятидесяти лет и я не слышал, чтобы там произошло что-нибудь подобное (По мнению некоторых кавказских инженеров пут. сообщ., хорошо знающих геологическое строение Военно-Грузинской дороги (Статковского, Загю и др.), подобные грандиозные обвалы возможны и предупредить их никак нельзя. Они даже желательны, так как разгружают скопляющиеся массы снега. Прекращение подобных обвалов грозит возможностью сдвига целого кряжа или даже опрокидыванием его в Дарьяльское ущелье. – *прим. М. Р.*)

Под этим Ларсом мы простояли дней десять в ожидании расчистки; наши войска, да и мы сами от скуки принимали в этих работах участие. В первое время все высказывали опасение, как бы запруженный Терек не образовал с той стороны озера, которое, прорвавшись через ледяную плотину, не затопило бы все ущелье; но, по счастью, воды Терека пробуравили себе туннель по старому руслу и скоро потекли обычным путем.

Но что это был за грандиозный обвал!.. Вообразите себе ущелье, шириною от ста до двухсот сажен, заваленное снегом, глыбами льда и оторванными скалами на высоту сажен пятидесяти и протяжением более семи верст!.. Сколько это составляло миллиардов пудов?.. Страшно подумать, что эта масса могла, обрушиться на нас, выступи мы из Владикавказа днем раньше.

Все это время я состоял неотступным кавалером m-lle Ernestine, за которой, впрочем, ухаживали и другие, но я имел большее преимущество перед другими в некотором знании французского языка. Конечно, через несколько дней я не преминул объясниться в страстной

любви, но француженка, несмотря на свою молодость, показала большую жизненную опытность.

– Потом, потом, мой мальчик... Ты мне нравишься, но я хочу сначала *faire fortune*, а затем уже думать об удовольствиях. Ведь мы с тобой, конечно, встретимся, и ты тогда будешь моим маленьким другом... *Bien?*..

А я молодой, еще далеко неиспорченный, ничего в сущности не желал, как только маленького кокетства, самое большое поцелуя. Подобный же откровенный цинизм меня сильно охладил.

Недели через полторы мы перешли завал по разработанной поверху дороге и затем уже двигались беспрепятственно. Кажется, в Цалканах некоторые пассажиры отделились от окании и поехали вперед. Тут же я расстался со своими французами. Много лет спустя, когда я достиг некоторого положения, в жене одного из подчиненных мне офицеров я с некоторой грустью узнал мою бывшую спутницу m-lle Эрнестин. Но увы, вместо некогда грациозной девушки, порхавшей по скалам и весело щебетавшей, я увидел разжиревшую, судя по красному носу, сильно выпивавшую тетеху, на которую штаб-квартирная жизнь, очевидно, наложила свою тяжелую печать... Она меня не узнала, а я не имел духу напомнить ей ее обещание относительно дружбы...



Вид Тифлиса. Картина М.Ю.Лермонтова

Насколько мне помнится, числа 29-го августа, в пыльный, душный вечер подошли мы к Тифлису, некрасиво, неприветно раскинувшегося по склонам гор, местами лишь покрытых порыжевшими от солнца деревьями. Мы остановились за городом на Вере, в каких-то глинобитных казармах. В ожидании смотра нас не отпускали в город, и мы от нечего делать толклись по окрестностям, заходя в сады, где радушные грузины нас закармливали до отвала персиками, виноградом, инжиром. Многие из нас, набросившиеся на невиданные фрукты, жестоко поплавились за свою жадность дизентерией.

Через несколько дней нас всех повели в штаб округа, построили во дворе, и здесь какой-то суровый на вид генерал вышел к нам, поздоровался и начал обходить ряды, пытливо осматривая каждого, при этом мы должны были говорить наши фамилии. Ходивший за генералом адъютант записывал что-то в книжечку. Потом нас распределили по полкам, и мы разбрелись в разные стороны.

По какой-то особой милости меня назначили в Эриванский карабинерный полк, теперь именующийся 13-м лейб-Эриванским гренадерским полком.

Он стоял, как и теперь, на Манглисе, в шестидесяти верстах от Тифлиса.



Солдат Эриванского полка

Оглянувшись на то далекое прошлое, я могу только сказать, что мне выпало на долю особое счастье начать службу и провести большую ее часть в этом исключительно хорошем полку. Пришел я юношей, чуть что не ребенком, очутился в совершенно новой среде, осужденный тянуть неопределенное число лет солдатскую лямку, в то время очень тяжелую... Одинок, без всяких средств, я тем не менее не чувствовал тоскливого одиночества и отчуждения, потому что как в солдатской, так и в офицерской среде не встретил гнета, не видел пренебрежения, а, напротив, повсюду встречал сердечное участие... Чужие люди приютили меня, согрели меня, облегчили разлуку с родными, даже заменили их, и я приобрел вторую родину... С Эриванским полком у меня связаны лучшие моменты жизни, память о лучших друзьях, о первых служебных успехах, достигнутых не протекцией, а добытых потом походов и кровью боев...

Привет же тебе, мой дорогой Эриванский полк, от старого твоего питомца, хранящего в сердце своем благодарную память о прожитых с тобою годах и дорожащего теми славными традициями, которые связывали нас всех, от солдата до командира включительно, в одну крепкую, дружную семью! Храните же и вы, молодые эриванцы, эти заветы, обязывавшие нас, стариков, служить не из корысти, не за страх, а за совесть...

II

Быт солдат 30-х годов. – Штаб-квартиры. – Приход на Манглис. – Первая охота. – Возвращение полка из гимринского похода. – Начало строевых занятий. – Дядька Турчанинов. – Отношение мое к солдатам. – Отделенный Клинишенко. – Федьдфебель Соколов. – Никита Сулуянов. – Поход на Кубань. – Полковник Катенин. – Артельная повозка. – Возвращение в штаб. – Угольная командировка. – Канцелярия.

Хотелось бы мне описать быт кавказского солдата тридцатых годов, быт неизмеримо отличающийся от теперешнего, но приступаю к этому описанию не без страха, боясь, что оно выйдет бледно и неполно. Прежде всего, это была эпоха суровых требований николаевских времен, эпоха целого ряда войн, то с персами, то с турками, то с горцами, с которыми, впрочем, борьба никогда не прекращалась. И эта постоянная готовность к боевым действиям отражалась на всем укладе жизни кавказских войск, вырабатывая из них выносливость в походах, закаленность в боях и выдающуюся отвагу, стяжавшую громкую славу кавказским войскам. Главная причина этого успеха, мне кажется, лежала в том общении солдата и офицера, которое вырабатывалось в течение непрерывного ряда годов совместной походной и боевой жизни, когда переносились всеми одинаково и голод, и холод, и все прочие лишения. Офицер и солдат представляли два лагеря, но не враждебных, а дружественных, связанных невидимыми узами доверия, любви и покровительства друг другу... Пройдя школу солдата, я положительно не помню глухой ненависти солдат к офицерам, не помню также пренебрежительного отношения этих последних к своим подчиненным. Иным, правда, жилось тяжелее, другим легче, но, в общем, все это была одна семья хотя и не с равноправными членами, но одинаково посвятившими свою жизнь военному делу.



Штаб-офицер Эриванского полка 1830–1834 гг.

Каждого приезжего, особенно из столиц, где царили муштра и шагистика, поражали на Кавказе отсутствие выправки в офицерах и в солдатах. Достаточно вспомнить известный отзыв графа Паскевича о первом крайне невыгодном впечатлении, произведенном на этого героя столичных парадов кавказскими войсками. Но через несколько месяцев отряд этих «никуда не годных» войск, в количестве не более 5–6 тысяч, разбил наголову под Шамхорами сорокатысячный персидский отряд Аббаса-Мирзы. Эти же самые войска заслужили самому Паскевичу титул «Эриванского» и потом одержали на его глазах целый ряд других побед. Этот фронтовик павловской школы должен был под конец признать, что отсутствие внешней военной выправки нисколько не мешает выдающимся боевым достоинствам Кавказской армии.

И это составляло особенность её. Солдаты были мешковаты, ходили с перевальцем в заломленных на затылок или надвинутых на глаза папахах, зачастую не в форме, в рубахах, в полушубках, в чустах (род домашних тапочек – *прим. ред.*) вместо сапог; строевой шаг их не имел той чеканки, которая тогда требовалась, ружейные приемы не были так чисты; солдаты не так быстро и подобоострастно ломали шапки перед начальством, как это делалось в центрах, но зато офицеры были всегда впереди и солдаты за ними шли, хоть в огонь, хоть в воду. На Кавказе офицер стоял несравненно ближе к солдату, чем в России.

Припоминаю я, например, такую сценку. После крайне утомительного дневного перехода войска стали на бивуаке; ночь выдалась холодная, моросило, и люди несмотря на утомление, не ложились, а варили себе у разведенных костров кто картошку, кто крошенку, кто тюрю из сухарей... Подходит какой-то офицер другой части и спрашивает, где расположен его полк?... Никто на вопрос не мог ответить. По издавна заведенному обычаю, люди на отдыхе не вставляли при проходе офицера... Так и в этот раз, некоторые из ближайших посторонились немного и радушно предложили: «Должно, далеко до ваших-то, ваше благородие, а вы погрейтесь у нас-то... Скоро картошка поспеет, отведайте»... И офицер присел у огня, отведал, чтобы не

обидеть, и картошки, и из другой протянутой манерки крошенку, поговорил немного и затем тут же свернулся в свою бурку и крепко заснул под сдержанный говор солдат. И никому этот эпизод не показался необычным, а, напротив, самым естественным. Еще лучшим доказательством этой близости может служить та забота, с какой солдаты выносили убитых и раненых офицеров, не только ради награды, но по христианскому чувству долга. Никогда не забуду, с каким трудом я отыскал того солдата, который в 1854 году вынес меня раненого под Кюрюк-Дара из числа обреченных уже к погребению в общей братской могиле. Я его потом спросил: «Отчего же ты не сказывался, когда я опрашивал?..» Он на это промолчал и денег от меня взять не хотел, потому что, по его мнению, за такое дело грех брать деньги и другой сделал бы то же.

Солдаты того времени, не выдавшие и у себя на родине роскоши, легко переносили всякие невзгоды, мирились со всеми неудобствами, если только видели мало-мальскую заботу о себе со стороны начальства, за что были бесконечно благодарны, называя заботливых командиров «отцами родными», «батьками» и т. п.

При мизерных казенных отпусках заботливость ближайших начальников являлась крайне необходимой, иначе солдаты голодали бы и мерзли.

Главным питательным продуктом считался, конечно, хлеб, которого, как и теперь отпускалось по три фунта, а в походе по два фунта (потом последняя доза была несколько увеличена). Каша, по трети фунта, давалась через два дня в третий; обед же состоял из борща или щей, в которые густо наваливали картофель, капусту, иногда молодую крапиву или полевой щавель. Мясо выдавалось через день по четверти фунта, а в прочие дни борщ приправлялся подбойкой из муки с топленным салом. В походах обычно питались одними сухарями, но когда отбивался у неприятеля скот, то на человека отпускали по фунту и более мяса и тогда у костров начиналось оригинальное готовление: кто жарил шашлык, а кто варил в манерках крошенку, – винегрет из мелко нарезанного мяса и всего съедобного, что только могло попасть под руку: крупы, луку, чесноку, перца, картофеля, туземных овощей, сала, постного масла, соли, воды и т. п. Получалось нечто такое густое, клейкое, что лишь голодный солдатский желудок мог усвоить. В походах ежедневно, а в штабах по торжественным дням, кроме того люди получали по полчарке спирту в 65 градусов нормальной крепости.

Постелей, одеял, подушек, тюфяков, разумеется, не было. Такую роскошь могли себе позволить только немногие старослужащие фельдфебеля да некоторые юнкера. Спали на голых нарах и считалось за великое счастье, если удавалось добыть сноп соломы. Подушкой служил ранец, укрывались шинелью, зимою большею частью, спали, не раздеваясь, даже в сапогах. При частых походах, впрочем, и не заводились постелями и разного рода громоздкими вещами. Все богатство солдата должно было помещаться в одном кожаном ранце, буквально по пословице: «omnia mea mecum porto» (все мое ношу с собой – *прим. ред.*).



Манглис, полковое здание, начало XX века

Почти во всех штаб-квартирах уже в то время имелись казармы, выстроенные самими частями, где из турлука (глинобитный – *прим. ред.*), где из сырцового кирпича и очень редко из камня. В казармах, хотя и тесноватых, по крайней мере, было сухо и тепло. На походе же или во временных стоянках предпочитали располагаться на открытом воздухе. Палатки хотя и имелись, но дабы сократить число обозов и из экономических расчетов, их редко брали с собой. По счастью, мягкий климат допускал возможность бивуачного расположения. В суровом же армянском нагорье или в дождливый период в Гурии, в Кахетии, на Лезгинской линии, в ущельях Дагестана войска обыкновенно строили себе шалаши или землянки, редко прибегая к постою по туземным деревням и аулам.

Теперь, конечно, жители пообстроились, пообзавелись многим, но тогда еще на всем их обиходе лежала печать разорения от многовекового рабства то туркам, то персам поочередно, и туземцы привыкли ничего не заводить, все же более или менее дорогое прятать. Белорусская курная изба может считаться роскошью по сравнению с туземными саклями или полукрытыми землянками, в которых нельзя отличить, где кончается человеческое жильё, где буйволятник.

Пищей большинству служили молочные продукты, пшеничные или кукурузные лепешки, изредка баранина. Пшеничный хлеб употреблялся только армянами, умевшими пахать; остальные вскапывали землю ручными тяпками под кукурузу. В Кахетии, Карталинии, Мингрелии и Имеретин, кроме того обильно употреблялось местное вино, которым вначале грузины охотно делились с русскими, считая грехом его продавать.

Жизнь в то время была очень дешева. Мясо, мне помнится, продавалось не дороже 1–2 копеек ассигнациями за фунт, вино 5–10 копеек тунга (винная мера в пять бутылок); местные овощи стоили гроши; молоко, сыры – тоже; табак, притом очень хороший, – абаз или ори абаз (20–40 копеек) око, то есть три фунта и т. п. Но при подобной дешевизне жители неохотно, с каким-то страхом продавали свое добро, до того в них вкоренилась боязнь военных реквизиций, которыми их застращали мусульманские полчища. Русские войска, к чести их сказать, с первых же дней своего прихода на Кавказ за все забираемое у местных жителей платили деньгами; разве только наши казаки иногда немного баловались. Но население трудно отвыкало от исторически сложившегося страха перед всякого рода войсками. Мне вспоминается, как уже в сороковых годах, при вступлении нашего авангарда в одну армянскую деревню, обитатели её в паническом ужасе разбежались, мужчины угоняли скот. Женщины тащили узлы и

маленьких ребятишек, и все это кричало, мычало, визжало... Только через несколько часов жители возвратились назад с низкими поклонами, виноватым видом и внешними, конечно, изъявлениями почтения и преданности... Потому-то к расквартированию прибегали лишь в очень редких случаях, например, в суровые зимы, хотя на Кавказе всегда старались избегать зимних компаний.



Манглис. Штаб-квартира Эриванского полка. Начало XX века.

Таким образом, большинство частей имели свои более или менее благоустроенные штаб-квартиры с неизбежными слободками, населенными ремесленниками, отставными или женатыми солдатами, которым разрешалось выписывать на казенный счет жен из России. Были даже особые «женатые роты». На жен и детей отпускался казенный паек, а впоследствии солдатским семьям нарезали землю, если не ошибаюсь, даже по 35 десятин, и из этих слободок образовались со временем целые селения, называвшиеся урочищами, таковы Манглис, Белый Ключ, Царские Колодцы, Гомборы, Лагодехи и другие.

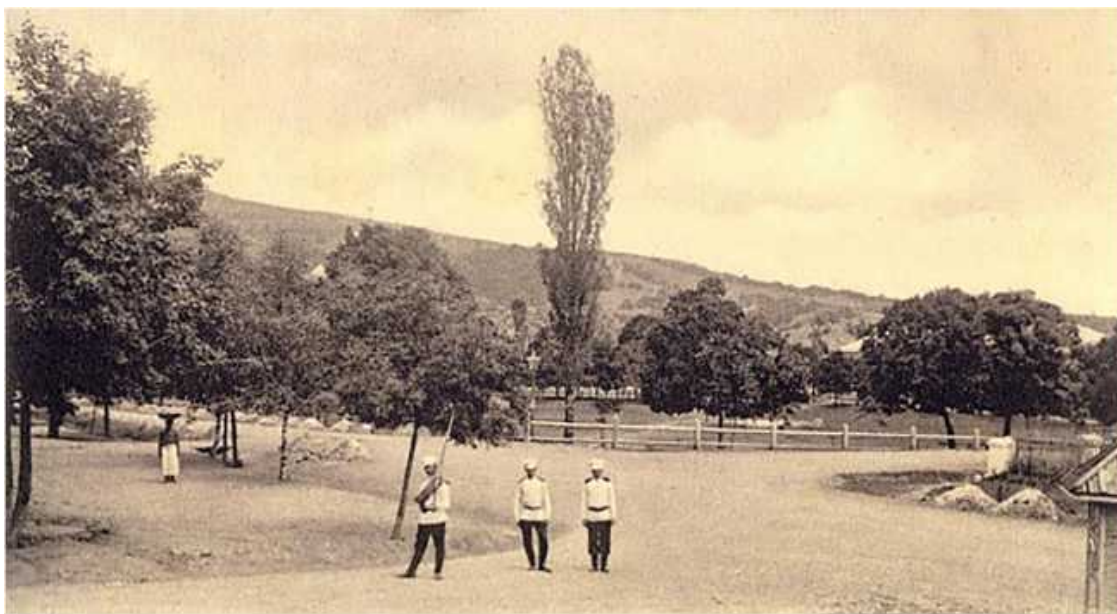
Эти слободки были единственными пунктами, где солдаты могли видеть женщин, и наверно, там уже ни одна невеста не засиживалась. Спрос на них был столь велик, что в счет шли даже старухи, которые по пословице «на чужой сторонке и старушка — Божий дар», были в большой цене, а уж о безобразных, но еще и молодых и говорить нечего. Если же выдавалась между ними какая-нибудь красивая, то ее облюбовывали офицеры, и она, в конце концов, выходила замуж за офицера. Особенно этим отличались артиллеристы, которые в своих выборах были значительно демократичнее остальных родов оружия.

Командиры частей один перед другим соревновали в благоустройстве своих штабов. Насколько мне помнится, никаких казенных отпусков на этот счет не полагалось, а предоставлялось лишь право употреблять людей на постройки, заводить полковые кирпичные заводы, каменоломни, лесопильни и т. п. Между солдатами всегда отыскивались подходящие мастера, техники и даже прекрасные инженеры. Так, например, в Лагодехах, драгунской штаб-квартире, громадное здание с двухсветным залом, первое по времени военное собрание на Кавказе, выстроено, как я слышал, под руководством простого солдата.

Недавно я узнал, что это здание теперь стоит в полуразрушенном виде, с провалившейся крышей и поросшими на стенах большими деревьями. Жаль, что не умели сохранить эту капитальную постройку.

Там, где угрожала возможность неприятельского нападения, штаб-квартира обносилась валом, и возникала, таким образом, крепость, постройки здесь поневоле ютились в пределах ограды. В других же случаях здания разбрасывались в нескольких десятках десятин и соединялись прекрасными шоссе, как, например, Манглис, Белый Ключ...

Кроме зданий, штаб-квартиры могли похвастаться своими огородами, этими главными подспорьями в деле кормления солдат. Если бы не существовало этих огородов, не знаю, право, чем насыщались бы солдаты, а с ними, пожалуй, и офицеры, ибо местное население совсем не знало употребления картофеля, капусты, брюквы, редьки, бураков и разводило свои особые овощи – цицмат, тархун, лобию, киндзу, черемшу, цвинтри и другие. Это было все очень вкусно, но не пригодно для солдатского желудка, требующего не столько вкусового качества, сколько количества.



Манглис. Церковный плац с солдатами Эриванского полка. Начало XX века.

Войсковые части обживались на своих штаб-квартирах; офицеры обзаводились собственными домами, семьями, солдаты – кумушками на слободке и так обрастали на месте, что оно для них, навсегда оторванных от родных деревень, становилось второю родиною. Солдаты, ради разнообразия, шли с удовольствием в поход, но с ещё большим возвращались к себе домой на отдых. Монотонная жизнь в штабах не блистала разнообразием. Учению посвящали немного времени. То, что теперь называется «словесностью», само собою постепенно усваивалось рекрутами от «дядек». Рекрутом же солдат назывался неопределенное время, год-два, а то и семилетний считался еще молодым, если он ещё не успел побывать в походах. Вообще опыт уважался, обращение молодых к старослуживым было почтительное, седина не служила предметом насмешки, а напротив – уважения. Люди, выходя в строй, обыкновенно «фабрили» усы и пробритые на подбородке бакенбарды особой фабрикой, вроде фиксатуара, который очень искусно делали сами из саж, сала и воска... Странно было видеть иной раз седого солдата с чёрными, как смоль усами, торчащими в стороны и вверх.

Такова была в общих чертах обстановка, в которой приходилось жить солдату на Кавказе в те далекие времена.¹

¹ Это описание быта кавказского солдата в записках отца изложено значительно полнее, но в виду того, что некоторые места потом повторяются в дальнейшем тексте, они здесь исключены. *М. Рукевич*

Вечером того дня, когда состоялось наше распределение по полкам, нас сдали в комендантское управление; меня же вместе с несколькими рекрутами принял унтер-офицер и отвел в казармы на Саперной слободке (теперешняя Саперная улица), где мы переночевали.

Со своими земляками я, признаться, расстался легко, поглощенный эгоистической мыслью о предстоящих мне перспективах. С иными потом мне приходилось неоднократно встречаться, а других я видел в последний раз.

Мне казалось, что я не буду грустить, но ночью, проснувшись, я стал думать о своей судьбе, и вдруг мне ясно представился весь трагизм моего положения – юноши, заброшенного на край света, без близкого лица, могущего подбодрить, поддержать в трудную минуту, вдали от сородичей, хоть до некоторой степени заменявших мне родных людей... А впереди?.. Что могло быть хорошего впереди?.. И жизнь мне сразу показалась такою безрадужной, беспросветной, что только глубокая религиозность спасла меня в ту тяжелую, памятную мне ночь от рокового шага...

Подняли нас до рассвета. Солнце только что показалось над горами, когда мы уже шагали за городом, подымаясь по Коджорской дороге.

Унтер-офицер Клинишенко, ведущий нашу партию, увидев мою бледность, спросил меня участливо, хотя и с начальническим, утрированно суровым голосом:

– А ты, полячек, болен что ли?..

– Нет, я здоров, господин унтер-офицер.

– Какой здоров? Краше в гроб кладут... Но только мой совет — не ложись в госпиталь... Оттуда не возвращаются. Потерпи малость. Подымешься на наш Манглис, разом твою лихоманку как рукой снимет, потому у нас воздух здоровый, вода чистая ключевая, не то, что здешняя бурда...

– Спасибо, господин старшой, только я здоров...

– Ну, коли здоров, так тем лучше... Одначе, если умаешься, можешь на подводу присесть...

Это маленькое участие меня подбодрило, уже я не чувствовал себя таким отчужденным. Стараясь перемочь свою слабость после бессонной ночи, я ни разу не присел на подводу. Такой, по-видимому, пустяк, однако, создал мне выгодную репутацию среди солдат, любящих оказывать покровительство, но еще более уважающих проявление мужества и выносливости. Об этом Клинишенко потом не раз вспоминал мне: «Я тогда же заметил, что будешь наш гренадер – словом, настоящий эриванец»... Высшей похвалы он не мог мне дать.

Пришли мы на Манглис уже поздно ночью, легко сделав шестидесятиверстный переход. Штаб-квартира оказалась пустой, так как весь полк был в главных силах, под начальством самого командира Отдельного Кавказского корпуса барона Розена, действовавшего против знаменитого Кази-Муллы.

Заведующий штаб-квартирой, мрачный командир нестроевой роты, принявший рекрутов, при виде моего полугусарского костюма, пренебрежительно мне буркнул: «Повстанец?», но потом, посмотрев мой приемный формулярный список, сказал мягче: «В сборную команду!.. Подождать прихода полка... Не отлучаться!.. Не шалить и всё такое прочее!..» Он, очевидно, не знал, отнести ли ко мне на «ты» или на «вы», а потому сохранял неопределенную форму.



Манглис, церковь кадетского корпуса. Начало XX века

Скучно тянулись первые дни. Чтобы чем-нибудь их заполнить, я попросил солдат показать мне ружейные приемы, маршировку и очень быстро усвоил себе эту немудрую науку.

К этому же времени относится моя первая в жизни охота, очень живо запечатлевшаяся в моей памяти. Если бы иначе сложились обстоятельства, вероятно, во мне проснулась бы эта страсть, но первый опыт мой оказался и последним. Кстати, читатель будет в состоянии себе представить, какое богатство дичи было тогда на Кавказе.

Однажды, бродя по штаб-квартире, я увидел компанию собирающихся охотников. Они согласились захватить и меня. Сбегав в казармы и отпросившись у фельдфебеля, я забрал кисет с табаком, кусок хлеба с солью, суковатую палку и потом бегом догнал охотников. «А ружьё?» – спросили меня. К общему смеху я показал на свою палку: «Вот оно! Да, ведь я так, только посмотреть и прогуляться...» – ответил я сконфуженно. Мы пришли довольно рано на место ночевки. Опытные следопыты определили, что внизу должны быть сейчас олени, а время еще позволяет сделать один загон, поэтому двое захватили на сворках собак и повели их кружным путем налево вниз, а остальные разместились по гребню горы, лицом к котловине. Так как у меня не было ружья, то я прошёл вперёд за последний номер и тут облюбовал себе местечко возле густого граба; но одному в лесу очень тоскливо, и я, забыв, или лучше сказать не зная основного охотничьего правила – стоять смирно в гаю, стал увеселять себя, чем только мог: курил, насвистывал, наконец, вырезал дудку и заиграл разные мелодии. Не знаю, что бы я еще изобрел для своего развлечения, если бы с соседнего номера не раздавалось: «Чёрт вас возьми совсем!.. Когда же вы успокоитесь?.. Зверя пугаете..» Сознывая свою вину, я не обиделся. А тем временем поднялся внизу гон собак. Через несколько минут раздался топот скачущих нескольких лошадей и вдруг мимо меня пронеслись один за другим пять оленей-рогалий. Затем снова послышался топот, и на поляну вынеслись красавицы козы. Первые мгновения я остолбенел, но потом меня охватила какая-то страсть: я выбежал вперёд из-за дерева, затакал, замахал руками, козы прыснули в сторону и помчались на номера. Там раздалась настоящая канонада. Этим поступком, мне казалось, я искупил своё недостойное поведение в начале гая. Затем на ту же поляну выбежало целое стадо кабанов. Но перед этим зверем я уже не решился изображать загонщика, а, напротив, попробовал, нельзя ли забраться на дерево; кабаны, постояв

немного, повернули и пошли куда-то вправо от цепи. В то время, как я мечтал о том, сколько бы я настрелял всякого зверя, будь у меня ружьё, вдруг передо мной показалась коза, которая бежала мелкой рысью и подталкивала мордой своей маленького козлёночка, недавно родившегося, – случай, по словам охотников, очень редкий для октября месяца. Во всякое другое время я бы только полюбовался на эту трогательную картину, но тут мною овладел какой-то охотничий бес. Я выскочил вперёд и с особенной силой кинул палкой в козу. Удар тяжёлой и суковатой палки пришёлся по голове матери, и она упала тут же. Я подскочил и навалился на неё, зовя на помощь. С соседнего номера прибежал охотник и прирезал козу, несмотря на мои протесты. Маленькая же козочка, глупая ещё, отбежала несколько шагов и легла в куст, выставив своё, как охотники называют, зеркальце... Тихо подкравшись, мне удалось и эту козочку схватить. Её потом у нас в роте отпоили молоком домашней козы и приручили так, что она бегала за солдатами; куда она девалась потом, не помню. Удивительно то, что все остальные охотники, бывшие с ружьями, и стрелявшие несколько раз по козам, ничего не убили, а я с одной лишь палкой как-никак взял двух коз.

Чтобы дополнить картину всех моих охотничьих приключений, расскажу о том, что было со мной на следующий день. Мы на ночлег расположились тут же в лесу на краю обрыва и развели большие костры. Моя же коза пошла на прокормление всей компании и собак. Много при этом шутили, острили на мой счёт, особенно один почтовый чиновник, уверявший, что он видел на своём веку много всяких охотников, и псовых, и ружейных, но ни разу ещё не встречал «палочных»... Я отшучивался, как мог, но мне было немного обидно стать объектом насмешек. Проспав несколько часов, мы все, однако, проснулись далеко перед рассветом от сильного холода и принуждены были развести огонь. Для увеличения горючего материала в дело пошла и моя суковатая палка. Весельчак почтовый чиновник, увидя это, воскликнул с ужасом: – Что же вы делаете, господа?... Чем теперь господин Рукевич будет бить коз?... Вы сожгли его оружие...

Бедняга. За эту и за целый ряд других насмешек сама судьба ему отплатила. Для чего-то он отошёл от бивака, и вдруг мы услышали крик, а затем стоны, доносившиеся снизу. Выхватив из костра горящие ветки, мы бросились туда и с трудом спустились вниз к бедному почтовому чиновнику, упавшему в темноте в овраг. Он довольно сильно расшибся, а главное расцарапал себе лицо о ежевичные кусты и шиповник... Кое-как мы его подняли наверх и при свете костра обмыли царапины, повынимали занозы. Охотиться он уже не мог, а поэтому, на имевшейся у нас подводе уехал домой. Подвода же должна была затем вернуться обратно к известному какому-то пункту. Уезжая, чиновник великодушно мне предложил своё ружьё, одностволку с кремнёвым курком, переделанную в полковой мастерской из старого казенного ружья. По словам владельца, оно било замечательно верно «жеребьем», то есть резанными кусочками свинца. Теперь-то я мог чувствовать себя настоящим охотником, хотя и с чужим ружьём.

Начало светать, когда мы уже были на местах. Опять я стал самым дальним номером. В гаю опытные охотники ожидали кабанов и, может быть, медведя. Признаюсь, этих зверей я несколько трусил, а потому предусмотрительно стал ближе к такому дереву, на которое мог бы легче забраться. Около дерева, кроме того, лежало ещё большое срубленное, но не увезенное бревно. Скоро где-то далеко внизу поднялся жаркий гон. В ту же секунду в просвете между деревьями я заметил не то собаку, не то волка. Как будто бы таких больших собак не бывает, казалось мне, а волка живого я ещё никогда не видел. «Эх, была не была!» – решил я, взвёл курок, нацелил и выстрелил. Послышался болезненный визг, очень похожий на собачий, но ведь волки тоже собачьей породы, утешал я себя, потому визг неудивителен. Видел я затем, как раненый зверь, сделав несколько скачков, упал, опять вскочил, отчаянно взвизгивая, опять упал и успокоился. Очень мне хотелось побежать и посмотреть на первый мой трофей, но теперь вспомнил правило: – ни в коем случае с мест не сходить, и остался, занявшись тщательным заряданием ружья. Жеребья в сумке я не нашёл, пришлось зарядить пулей. Желая

покурить, я набил трубку и уже готовился высекать огонь, как вдруг передо мной в той же прогалине между деревьями, где недавно появился волк, теперь стоял олень ко мне грудью, но обернувшись назад головой. Очевидно, он прислушивался к гону собак. Я тихонько приподнял ружьё с поваленного дерева, нацелил в грудь и спустил курок. Когда дым, нанесённый на меня ветром, рассеялся, то олень исчез. Очевидно, я промазал.

Хотя трудно было рассчитывать, что после двух моих выстрелов на меня ещё что-нибудь вышло, но я все же снова зарядил ружьё. Между тем слева началась тоже пальба и крики «береги!..береги!...». За этим криком тотчас же мимо меня замелькали жёлто-серые фигуры коз, которые мчались с такою быстротою, что выделить не было никакой возможности... «Ну и чёрт с ними!..» – сказал я и вперился снова в прогалину, где видел оленя... И действительно там скоро показался козёл и остановился в той же позе, как и олень, оглядываясь назад. Снова я выстрелил, и козёл куда-то исчез, когда рассеялся дым. Просто какое-то колдовство!

А дальше произошло для меня нечто очень позорное с охотничьей точки зрения, но извинительное с житейской, особенно приняв в расчёт, что это была моя первая охота, если не считать той пары домашних уток, которых я по неопытности когда-то застрелил в Полесье.

Собачий гон тем временем всё приближался к нашей линии, и гон был какой-то странный: собаки то гнали, то просто злобно рычали, то заливались воем и нет-нет раздавался их визг. «Вероятно, олень бодается...» – подумал я, вспомнив одну картинку. Но каков был мой ужас, когда вдруг после выстрела с соседнего номера раздался предупреждающий крик: «Берегись, – медведь!..» С лихостью, достойной лучшего гимнаста, я мигом взобрался на дерево... Но не это я ставлю себе в укор, а то, что внизу я оставил ружьё, да ещё незаряженное... А спускаться было уже поздно, потому что уж показались собаки, возившиеся вокруг медведя, который то садился на зад и отбивался от наседавших собак, стараясь поймать их лапами, то делал несколько скачков галопом, и собаки тогда впились ему в ляжки... Так эта группа приблизилась к моему дереву. Признаюсь, я пережил несколько неприятных моментов, когда медведь в несколько прыжков подскочил к поваленному возле моего места бревну и взобрался на него. Тут зверь был совсем безопасен от собак, они окружили его и продолжали озлобленно лаять; я же сидел на дереве тут же, шагах в пяти и дрожал от волнения... Чем бы окончилась вся эта история, не могу себе представить, если бы не раздался совсем близко выстрел и медведь, рывкнув, не свалился бы на землю... Это с соседнего номера прибежал охотник и дострелил зверя, уже раньше им раненого.

Кончился гай, и все приплелись на мой номер, таща кто козу, кто двух, а кто приволок кабана за ногу. Спустившись по возможности незаметно с дерева, я побежал к волку и тоже притащил его, но при беглом взгляде охотники сразу определили, что это была пастушья собака, на которой даже оказался обрывок веревки.

– Ай да охотник!.. Нечего сказать!.. – раздалось восклицания. – Вчера козу палкой убил, другую за хвост поймал, а сегодня собаку подвалил... Ну, а ещё по чём стреляли?..

– По оленю и по козлу... Кажется, обоих ранил... Вон там, – ответил я, показывая на просвет.

Кто-то пошёл к прогалине посмотреть на кровавые следы. Вдруг он замахал руками и побежал вниз. Мы тоже бросились туда. Там внизу крутого спуска, саженях в пятнадцати, лежал убитый олень, а несколько выше козёл... Это было моё торжество, но не надолго, потому что скоро опять начались насмешки, в роде возведения меня в охотничьи короли, который одинаково хорошо владеет и ружьём, и палкой., и т. п.

Следующие гай были для меня не так удачны; однако, помнится, я ещё убил что-то. В общем, совсем неопытный, бывший первый раз на зверовой охоте, я обстрелял всех, что немало содействовало общей зависти, проглядывавшей сквозь зубоскальство. В результате я был очень обижен, убеждённый, что все эти насмешки они позволяют себе только потому, что

я «пленный», а они принадлежат к победителям... «Vae victis (горе побеждённым)», – говорил я себе с горечью.

Теперь-то мне смешно, но тогда было очень больно. Этот день первой моей охоты был настолько отравлен, что, сколько меня потом ни звали другие охотники, я не пошёл, и этим закончились все мои охотничьи похождения.

В роте я довольно хорошо сошёлся с отделенным (по теперешнему – взводным) унтер-офицером Клинишенком, который, видимо, принял во мне участие и часто беседовал со мной, угощая чайком (Настоящий чай, по его дороговизне, приходилось пить редко, но солдаты ухитрялись собирать какие-то травы и листья, настой которых очень напоминал вкусом настоящий чай. Потом из Турции нам удавалось получать дешёвый китайский чай, но по вкусу он был хуже солдатского настоя. А. Р-ч.) Много раз потом я дивился его метким характеристикам начальствующих лиц и тому, сколько ума и наблюдательности таилось в этом почти безграмотном солдате, хотя и произведённом в унтеры... Последнему, впрочем, нечего было удивляться, когда в то время встречались даже офицеры, еле подписывающие свои фамилии.

Этот Клинишенко, между прочим, дал мне очень благой совет: во-первых, попроситься в шестую роту, а, во-вторых, всеми силами стараться избегать канцелярии, чтобы остаться в строю.

– Будут это они тебя пытаться, – говорил он: – хорошо ли ты грамотен, а ты, голубец мой, прикинься дурачком, не понимающим; нарочно, значит, чтобы тебя не взяли в канцелярию... Будь она неладна, эта канцелярия... Терпеть не люблю этих господчиков, которые нашего брата, строевика, завсегда притесняют. Сидят сами в тепле и сытости, а над нашим братом измываются... Вы, говорят, чёрная кость, неучёная темнота... Подумаешь, тоже благородные. Да и на что тебе эта канцелярия?.. Тут у нас весело: идут разные занятия, работы, походы; тут тебе и отличиться можно: произведут, может, в унтеры, как меня. А не то тебя, как образованного, могут и в офицеры катнуть... Ей-Богу!.. А в канцелярии что?.. Канцелярия, как гриб, приросла к штабу, – в походы не ходит. И век придётся тебе, согнув спину, корпеть над бумагами...

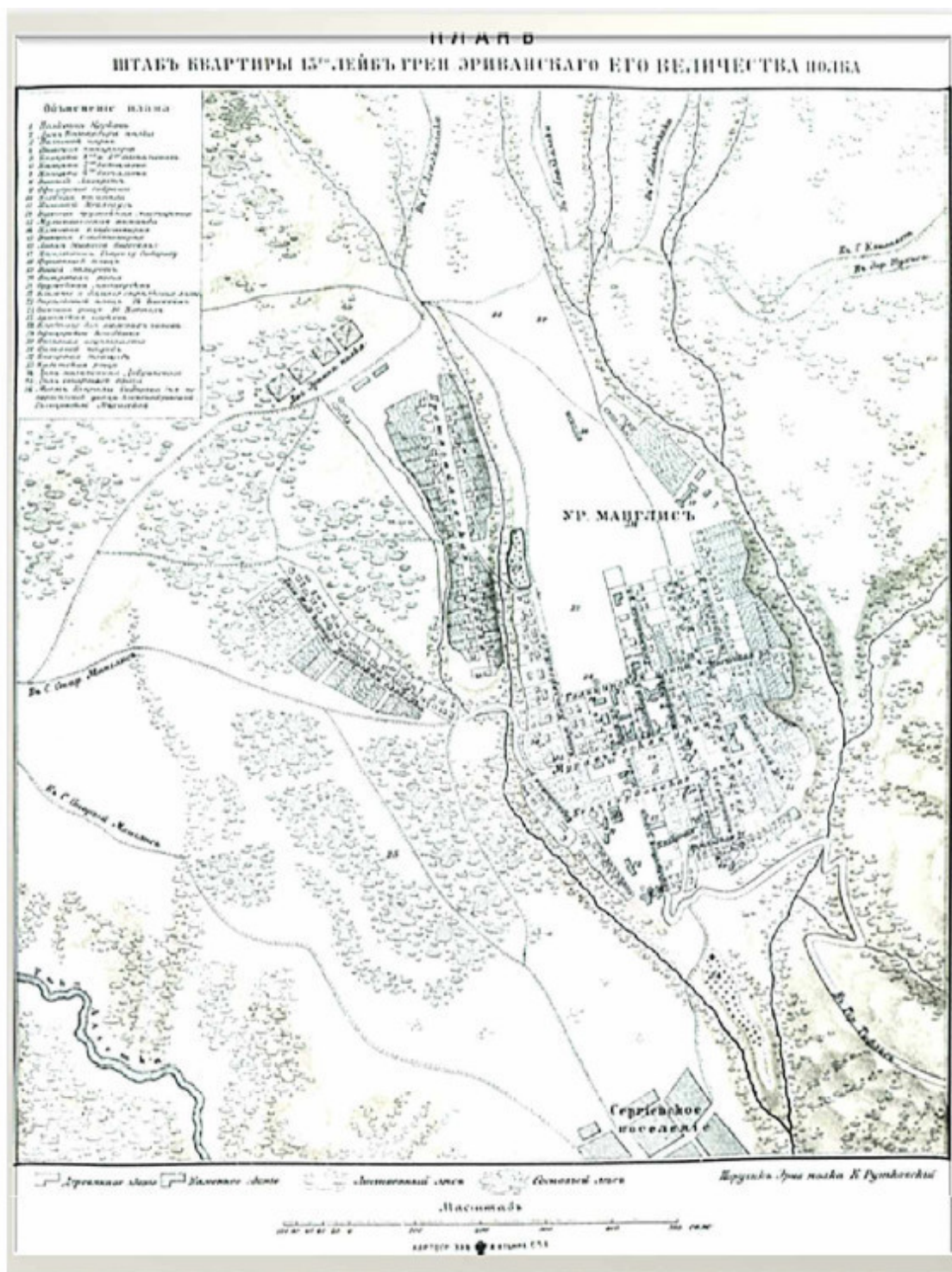
Этот совет был действительно хорош. Так как в силу конфирмации мне предстояло служить солдатом «впредь до отличной выслуги, но не иначе, как в делах против неприятеля», то мне оставалось только искать случая к боевым отличиям, а при канцелярской службе, конечно, этого не могло случиться.

В ноябре месяце полк вернулся из похода. Первые дни были полны шумной радости, естественной при возвращении людей к себе домой на отдых. Все только и говорили о пережитых впечатлениях, о возможных наградах за знаменитый в летописях кавказских войск штурм Гимр. Всё ущелье горцами было преграждено громадным завалом, в центре которого была возведена башня, оборонявшаяся самим Кази-Муллой со своими избранными приверженцами. После упорного сопротивления башня была взята нашими войсками и все защитники вместе с самим Кази-Муллой переколо

ты, но один, совсем почти юноша, прижатый к стене штыком сапёра, кинжалом зарезал солдата, потом выдернул штык из своей раны, перемахнул через трупы и спрыгнул в пропасть, зияющую возле башни. Произошло это на глазах у всего отряда. Барон Розен, когда ему донесли об этом, сказал:

– Ну, этот мальчишка наделает нам со временем хлопот...

Слова эти припомнились потом, несколько лет спустя, как пророческие, когда со слов самого Шамиля узнали, что он был тем самым юношей, который так поразительно находчиво и счастливо ускользнул в Гимрах.



План штаб-квартиры Эриванского полка

С приходом полка началась моя строевая служба. Мне не пришлось прикидываться дурачком, чтобы избежать канцелярии. Дело обстояло проще: повстанцам не доверяли и старались не брать в канцелярию, где имелись секретные бумаги. Но, кроме того, рекрутам необходимо было пройти ротную строевую муштровку, как это и теперь делается.

Таким образом, я без особых затруднений попал в шестую роту, где мне сейчас же назначили дядькой, то есть инструктором, долженствовавшим посвятить меня во все тонкости военной службы, отделенного унтер-офицера Турчанинова, уроженца Рязанской губернии. Это был добрый человек, знающий строевик, но в пьяном виде невыносимо болтливый. Впрочем, я

скоро приноровился к нему и умел отделаться от его болтливости, подставляя вместо себя другого какого-нибудь слушателя.

Обучение наше пошло чрезвычайно быстро. Конечно, я не говорил Турчанинову, что знал уже кое-что, и все мои успехи он мог, поэтому, всецело отнести на счет своих педагогических способностей. Я даже легко усвоил ту белиберду, которую солдаты того времени, за неимением письменных уставов, передавали устно из поколения в поколение и, конечно, при этом коверкали каждый по своей фантазии. В конце концов, смысл так искажался, что становился непонятным здравому человеку. Когда я пробовал исправлять кое-что или доискиваться до истинного значения, Турчанинов меня резко останавливал и требовал точной передачи.

– Не твоего ума дело. Умнее тебя люди составляли «правила» (так называлась тогда словесная премудрость). Солдат не должен рассуждать... Так что же такое есть ружо?..

И мне до сих пор помнится ответ, который долженствовало произносить единым духом, лучше всего, закрыв глаза:

– Ружё есть оружие, нам данное не токмо для нападения, но и для обороны против врага и дабы защищать оным престол, веру и отечество. Оным же я совершаю артикулы, приемами именуемые.

– Как ты должен совершать сии приёмы?..

– Сии приёмы я должен совершать по команде начальников.

– Какие, примерно, бывают команды?..

– От стоячей ноги до могучего плеча шарааах... ни!»

Такая команда если и существовала в стародавние времена, то теперь была отменена и сохранилась в устном предании. Турчанинову же она нравилась красивыми терминами, и ему казались грубыми простые команды: «на пле-чо, к но-ге» и т. п.

По счастью начальство никогда не спрашивало нас эти правила, а довольствовалось прямыми результатами, – знал солдат ружейные приёмы, повороты, зарядание на шестнадцать темпов, маршировку, кое-какие перестроения, и довольно. Вспоминаю я еще, как при поворотах мы должны были с приставлением ноги ударять себя для отбивания темпа правой рукой по ляжке.

Все одиночные строевые занятия велись унтер-офицерами, фельдфебелями, и только ротные и батальонные учения – офицерами. Вообще строю уделялось не более часа в день, все же остальное время было посвящено хозяйственным работам то на полковых построениях, то на огородах, покосах, рубках леса, выжиганиях угля и т. п. Ротные работы были те же, что и в полках, но только в меньшем масштабе, и весь день солдата был, таким образом, наполнен.

После двух-трёх месяцев занятий с дядькой я был поставлен в строй, как заправский солдат, и даже помню, участвовал в крещенском параде.

Входя в солдатскую среду, я опасался быть одиноким и отчуждённым, но этого не случилось. С первого же дня никто из солдат не дал мне почувствовать тяжкого одиночества, а все будто согласилось не только не корить меня в чём-нибудь или злорадствовать, а, напротив, признали меня своим сослуживцем, равноправным членом своей среды. Я понял эту деликатность и оценил её благодарным чувством. Были, например, у нас солдаты, побывавшие в Польше на усмирении и даже в наполеоновский период, и никто из них при мне не злорадствовал по поводу окончательного крушения польских надежд.

То же встретил я и в офицерской среде. Между ними было довольно много поляков, но после 31-го года они сделались большими роялистами, чем сам король, и даже между собой не говорили по-польски. Помню, как-то на одном учении, я стоял в сторонке. Вдруг ко мне быстрыми шагами подошёл офицер и вполголоса сказал по-польски: «Забудь, что ты поляк. Ты здесь – москаль», и так как к нам в то время кто-то подошёл, громко стал мне делать замечание относительно выправки.

Сначала, помню, меня тянуло к офицерской среде, с которой у меня могло быть больше общего, чем с солдатами, но из опасения встретить там снисходительный тон или покровительственный, я старался избегать частых общений и даже отнекивался на все приглашения, а потом я так тесно сошёлся с солдатами, открыл там такой богатый душевный мир, что ничего не желал лучшего. Не без наслаждения я опростился, не отказываясь ни от каких нарядов.



Виды формы нижних чинов Эриванского полка 1827–1851 гг.

Приходилось ли людям копать огороды, – копал и я; дрова рубить – рубил и я, также угли выжигал, подметал казармы, белил стены наравне с другими. Но солдаты с почти неувимую деликатностью умели меня отстранить от работ слишком тяжёлых или грязных и, так сказать, берегли меня. А что я им мог дать взамен?.. Я им только писал письма на родину да читал

получаемые из деревень и в длинные зимние вечера в казармах или летом при бивуачном огне рассказывал, что знал, о разных странах, народах, о природе. При этом я никогда не прикидывался всезнайкой, иногда сознавался в незнании, а потому люди мне верили. Не каждому лектору удавалось иметь такую чуткую, жадно прислушивавшуюся к каждому слову аудиторию...

Особенно я подружился с одним старым солдатом, Никифором Максимовичем Сулуяновым, или попросту – Максимычем. Знакомство наше произошло очень просто. Это было в первое же время моего прибытия в полк. Мне всё приходилось делать самому, потому что нанимать кого-нибудь не имел средств. Из дому мне дали всего пять полуимпериалов (золотых пятирублёвиков), из которых у меня тогда осталось только два, и я решил их не менять, а хранить до последней крайности... Нужно мне было постирать как-то бельё, а мыла не нашлось. Слышал я про щёлок и вот достал золы, развёл её водой и в этом отстое начал стирать бельё. Постепенно оно начало краснеть; оказалось, что щёлок развел мои руки, и кровь сочилась из под ногтей... Солдаты подняли меня на смех. Бывший возле Максимыч, одного со мною взвода, покачал укоризненно головой и сказал:

– Нешто так можно?.. В щёлоке бучат бельё, а не стирают... Дай сюда!..

Сердито вырвал он у меня рубаху, достал своего мыла и достирал бельё. С тех пор я почему-то полюбился ему. Бывало – проснёшься, а сапоги уже вычищены, амуниция наводнена, ремни побелены... А там, когда мы разжились чаем, то и жестяной чайник вскипячён. На походе, бывало, затекут мои плечи от непривычного ранца, а Максимыч идёт сзади да поддерживает или заставит снять и сам несет мою ношу... Я пробую отнять, а он не даёт и говорит:

– Да куда тебе ледащему... Отдохни малость, а мне это нипочём...

Моё нищенское добро берёт больше своего. И всё это не было чертою привычного подчинения, а лишь проявлением «отцовства», громадный запас которого солдаты, навек оторванные от семьи, хранили в своих сердцах. Им необходимо было покровительствовать кому-нибудь, пестовать, и чувство это выражалось в самых разнообразных формах, проявляясь любовью к сиротам, подкинутым или пленным детишкам, а иногда к домашним или диким животным. Поэтому-то на Кавказе, где отчуждённость от родины чувствовалась гораздо острее, были так распространены «усыновления» разных сирот, на воспитание которых солдаты с наслаждением несли свои дорогие гроши и офицеры не имели духу отказать им в этом сборе, а в каждой роте, где, конечно, масштаб был меньше, всегда имелись свои баловни в виде собак, козлов, оленей, даже медведей. Максимыч, всегда нянчившийся с кем-нибудь, перенёс свою нежность с кудлатого пса на меня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.